

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“В БОРЬБЕ НЕРАВНОЙ ДВУХ СЕРДЕЦ”

У нас ведь всё от Пушкина...
Ф. Достоевский

Но есть, есть Божий Суд...
М. Лермонтов

Почти все значительные поэты Серебряного века, оставившие неизгладимый след в русской поэзии, вольно или невольно подражая Пушкину, мечтали о памятниках себе, любимым. “Мне бы памятник при жизни — полагается по чину” (В. Маяковский); “Я скоро мраморною стану” (А. Ахматова); “В России новой, но великой поставят идол мой двуликий” (В. Ходасевич); “Чтоб и моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть” (С. Есенин); “Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен, кричите, буйствуйте, — его вам не свалить!” (В. Брюсов) и т. д.

Но властителям дум той эпохи мало было подобных напыщенных деклараций, каждый из них ещё претендовал на особое отношение к Пушкину, каждый желал, подобно Цветаевой, сказать “мой Пушкин”, “приватизируя” великого поэта, опуская его, в меру своего таланта (или в меру “своей испорченности”), до себя, до своей злобы дня, до своего положения в суетном мире “Серебряного века”, в мире революции и нэпа. Вспомним хотя бы об амикошонском разговоре “на равных” Маяковского с Пушкиным из стихотворения “Юбилейное”: **“У меня, да и у вас в запасе вечность”**; **“После смерти нам стоять почти что рядом”**; **“Я бы и агитки вам доверить мог”**... Всё вроде бы сказано в шутку, но тем не менее ясно, что с одним великим поэтом своего времени разговаривает другой великий и “талантливейший поэт советской эпохи”, и оба строят после революции новую жизнь.

Молодая Анна Ахматова создавала в своём воображении другого Пушкина, далёкого от “агиток”, но близкого ей:

*Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озёрных бродил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.*

*Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрёпанный том Парни (1912 г.)*

А позже она восхищалась Пушкиным за то, что он обладал правом “шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть”.

Это был “ахматовский”, но не “маяковский” Пушкин, и томик Парни он держал в руках не случайно, поскольку, как сообщает “Литературная энциклопедия” 1934 г., любимец Вольтера Парни был автор “эротических и антирелигиозных поэм, которые определили его репутацию крайнего нечестивца и безбожника”; “Война богов” и другие библейские поэмы П. были запрещены к переизданию во Франции”; “Христинада”, рукопись которой была выкуплена за большую сумму правительством реставрации и предана сожжению”; “Война богов” явилась одним из самых антихристианских произведений мировой литературы”; “Один из всех русских подражателей Парни Пушкин усвоил и эротическую, и антирелигиозную традицию его библейских поэм; некоторые места в “Гавриилиаде” являются почти буквальным переводом из них”. В других энциклопедиях стихи Парни удостоиваются эпитетов “непристойно кощунственные”, “порнографические” и т. д.

Но именно такой Пушкин, поклонник “эротомана” и “нечестивца” Парни, был идеалом поэта, нарисованного пером Ахматовой.

Валерий Брюсов, издавший во время расцвета поэзии Серебряного века в 1914 году стихи того же Парни в России, чрезвычайно высоко ценил ту часть творчества Пушкина, которая, по мнению Брюсова, была близка идеологии “чистого искусства”. Наверное, поэтому Брюсов в 1914–1916 годах дописал якобы недописанную новеллу Пушкина “Египетские ночи”, в которой Александр Сергеевич изобразил стихотворца-импровизатора, выполнившего заказ светской публики и сочинившего на глазах у неё поэму о трёх любовниках Клеопатры. Каждый из них купил право провести с пресыщенной наслаждениями владычицей Египта одну ночь на ложе любви, и каждый из них был обязан по прошествии своей ночи сложить голову на плаху. Поскольку стихотворная часть новеллы Пушкина обрывается на сцене заключения этой сделки трёх мужчин с Клеопатрой, то Валерий Брюсов не нашёл ничего лучшего, как изобразить все три сладострастные ночи со всеми подробностями переживаний участников этой сексуальной трагедии.

Но Брюсов, видимо, не знал размышлений Достоевского, который в разгар либеральных реформ 1861 года, когда в прессе разгорелась полемика по поводу “Египетских ночей” и человеческих достоинств Клеопатры, высказался об одном из участников полемики: “Он называет “Египетские ночи” “фрагментом” и не видит в них полноты, – в этом самом полном, самом законченном произведении нашей поэзии!”

Достоевский, в отличие от Брюсова, восхитившегося величием царственного жеста Клеопатры, называет её “гиеной”, которая “уже лизнула крови”, “самкой паука”, которая “съедает своего самца в минуту своей с ним сходимки”, но самая главная мысль Достоевского заключалась в другом, чего не видели ни Брюсов, ни все знаменитые поэтессы Серебряного века, создавшие такой культ Клеопатры, что петербургские деятели шоу-бизнеса эпохи 10-х годов XX века вылепили восковую фигуру царицы со змеей на груди и поместили её в стеклянный гроб на обозрение толпы. Александр Блок побывал в этом паноптикуме и написал в стихотворенье об этой восковой кукле: “Ты видишь ли теперь из гроба, что Русь, как Рим, пьяна тобой?”

Но вернёмся к Достоевскому:

“Замирая от своего восторга, царица торжественно произносит свою клятву... Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух... и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш Божественный Искупитель. Вам понятно становится и слово: “искупитель...” И странно была бы устроена душа наша, если бы вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчёт клубнички!”

Достоевский вдохновенно и убедительно доказал, что “Египетские ночи” написаны не “любителем клубнички” и не декадентом, не апологетом чистого

искусства, что пытались сделать дети Серебряного века, а православным христианином и человеком, душа которого тянется к евангельским истинам.

Один из отцов-основателей символизма Валерий Брюсов после революции забыл о своей попытке изобразить Пушкина как основоположника “чистого искусства” и в 1919 году составил тощий сборничек на жёлтой газетной бумаге “Стихотворения о свободе” и написал предисловие к нему. Конечно, в сборнике были стихи молодого Пушкина – ода “Вольность”, “Деревня”, “Кинжал”, “Послание к Чаадаеву” и все злые, саркастические и достаточно вульгарные и несправедливые по сути эпиграммы на Александра Первого, министра просвещения Голицына, Карамзина и других известных людей той эпохи. Специальный раздел занимают стихи, “приписываемые Пушкину”, вроде “Народ мы русский позабавим и у позорного столба кишкой последнего попа последнего царя удавим”. Из брюсовского предисловия явствует, что Пушкин **“узнал и глубоко почувствовал чудовищность русского самодержавия”**, что “Гавриилиада” – это **“поэма, высмеивающая религию, а по пути и самовластие”**. Но смешнее всего то, что Брюсов, в своё время возносивший в стихах хвалу скотоложеству, в комментариях к эпиграммам Пушкина, гневно осуждает “грубый разврат” и педерастические наклонности чиновников эпохи Александра I, упоминаемых в эпиграммах Пушкина.

Изо всех знаменитых поэтов Серебряного века самые сложные отношения с Пушкиным были у Александра Блока.

Знаменитая речь Александра Блока “О назначении поэта”, произнесённая 11 февраля 1921 года – в 84-ю годовщину смерти Пушкина, – была насыщена мистическими откровениями о сущности поэзии вообще: “Поэт – сын гармонии”, “на бездонных глубинах духа <...> катятся звуковые волны”. Эти волны хаоса надо заключить “в прочную и осязательную форму слова”, а потом “приведённые в гармонию звуки надлежит внести в мир”, где начинается поединок “поэта с чернью”, с “чиновниками” и “бюрократами” всех времён и народов. “Пушкин закреплял за чернью право устанавливать цензуру”, но, по уверению Блока, “никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии”... К блоковской речи “О назначении поэта” примыкает и последнее стихотворенье Блока “Пушкинскому дому”:

*Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.*

*Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?*

Но Александр Пушкин не только символ “тайной свободы” и “сладости звуков”. Он много раз отдавал должное и русской государственности, и православию, что было уже чуждо Блоку, написавшему к тому времени “Двенадцать”, “Возмездие” и ставшую знаменитой статью “Интеллигенция и революция”.

Речь Блока исполнена в высоком мистическом стиле, однако он – истинное дитя символизма, – ни слова, к сожалению, не сказал о Пушкине как о народном русском поэте, как о поэте всемирном, как о великом русском историке, как о строителе нашего национального самосознания, как человеку евангелического склада, которому пускай не сразу, но всё-таки открылся свет Нагорной проповеди. Многое из такого Пушкина было чуждо великому поэту Серебряного века. Говоря о цензуре, стеснявшей Пушкина, Блок, естественно, не вспомнил о том, что сам Пушкин, страдавший от цензуры, но ужаснувшись зловонному потоку рыночной переводной литературы, хлынувшей в 30-е годы XIX века в Россию с буржуазного Запада, воззвал к обществу и к государству, требуя цензуры:

“Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и проч. не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская

власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?”

(“О записках Видока”. “Лит. газета”, 1830 г.)

“Тайная пушкинская свобода”, о чём так красиво писал Блок, связана с жертвами, которых “требует” от поэта “Аполлон”. (“Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...”). Но прошло уже 2 тысячи лет с тех пор, как после Аполлона в мир пришёл Христос. Об этом Александр Блок в своей возвышенной речи не вспомнил. Границы “тайной свободы” и “свободы” вообще поставлены поэту не “цензурой”, а евангелическими идеалами. Возможно, что Блок перед смертью вспомнил об этом, потому что разбил кочергой бюст Аполлона, стоявший в его кабинете, со словами: “Я хочу посмотреть, на сколько кусков развалится эта жирная рожа”.

У Александра Блока есть страшное стихотворенье (написанное в 1912 году, в разгар вакханалии Серебряного века), в котором наш великий поэт открывает тайну вдохновения, посещавшего его.

К МУЗЕ

*Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть,
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.*

Блоковская Муза (с большой буквы! – **Ст. К.**) не различает зла и добра (“зла, добра ли? Ты вся – не отсюда”), она служит только идолу красоты и, “соблазняя своей красотой” не только душу поэта, но и “ангелов”, несёт ему и “страшные ласки”, и “мученье”, и “ад”.

В награду за “вальсингамовское” поругание “священных заветов” Муза венчает голову поэта венцом отнюдь не Божественного происхождения:

*И когда ты смеёшься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг...*

Пурпуровой-серый круг над головой Музы – это не золотой нимб святости, а отблеск инога, зловещего пламени.

Ожидание визита Музы к Блоку очень похоже на ожидание Ахматовой ночного гостя, посланца из мира тьмы в стихотворенье “Какая есть. Желаю вам другую...”

Разница лишь в том, что тень из потустороннего мира, приходившая к Блоку, была женского рода, а к Ахматовой – мужского... И не случайно Ахматовой в “Поэме без героя” Александр Блок явился как **“Демон с улыбкой Тамары”**.

Александр Пушкин трезво осознавал свои человеческие слабости, искренне скорбел о своей мирской греховности:

*Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам.
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.*

Но тот же самый Пушкин писал о себе: “Духовной жаждою томим” – в то время как большинство поэтов Серебряного века томилась не духовной, а “греховной жаждой”. И, видимо, ощущая эту болезнь, они тянулись к Пушкину, желая найти в его творчестве понимание и хоть какое-то оправдание своего отчаяния или своей греховности. И в этом смысле поучительна драма одного из самых значительных поэтов Серебряного века, который пытался преодолеть духовное отчаянье, хватаясь за античные идеалы красоты, и впал в вальсингамовское упоение чумным пиром:

*Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.*

*Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.*

*Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне — соленой пеной
По губам.*

*По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.*

*Ой-ли, так ли, дуй ли, вей ли, —
Все равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино! (1931 г.)*

Не было рядом с Мандельштамом, когда он сочинял эти нарочито ёрнические стихи, православного батюшки, который сказал бы ему: **“Осип Эмильевич, Вы же хоть и лютеранского толка, но всё-таки христианин, зачем Вам эти эллины и вальсингамы, давайте лучше прочитаем “Отче наш”...**

В этом стихотворении Мандельштам обломки средиземноморского греческо-римского мира в отчаянье перемешал с приметамы нэповского и постнэповского хаоса. Для него, влюблённого в призрачные образы Эллады и Рима, стало настоящей катастрофой осознание реальности 20-х годов. Но в отличие от Пушкина Осипу Эмильевичу не явился “шестикрылый Серафим”, и для него не воссиял свет Евангелия.

Поэты Серебряного века тоже были детьми, участниками и даже творцами Революции, детьми незаконными или полузаконными, её пасынками и падчерицами, её бастардами. Фёдор Сологуб в то время печатал в популярном либеральном журнале “Перевал” свои сочинения о том, как отец соблазнил и сделал своей любовницей дочь, о том, как некая античная красавица выбежала на площадь древнегреческого города и стала отдаваться на глазах всего честного народа всем окружавшим её мужчинам. В результате этого группового секса она скончалась, и к её прекрасному телу подошёл юноша, давно и безнадежно вздыхавший о ней. Он и стал её последним любовником. Вот Фёдор Сологуб своими “афинскими ночами” попытался перереголять Пушкина Клеопатрой и “ночами египетскими”. Разве знаменитый писатель такого рода картинами Сексуальной Революции не внёс свой вклад в разрушение “до основанья” старого мира?

Когда наступает эпоха Великой Революции, то в её русло — политическое, экономическое, культурное — вливаются и “сексуальная” революция, и “религиозная”, и “бытовая”. Как говорится, всё соединяется “в одном флаконе”.

* * *

Легкомыслие русских поэтов той эпохи порой бывало поразительным.

В конце мая 1919 г. в одном из номеров газеты “Известия” появилась короткая заметка: **“Модным лозунгом дня стало вынесение искусства на площадь <...> 28 мая на стенах Страстного монастыря объявились глазам москвичей новые письма весьма весёлого содержания: “Господи, отелись!”, “Граждане, бельё исподнее меняйте!” и т. д. за подписью группы имажинистов. В толпе собравшейся публики поднялось справедливое возмущение, принимавшее благоприятную форму для погромной агитации”.**

Вскоре после этой кощунственной выходки имажинисты взялись за переименования улиц: Большую Дмитровку назвали именем имажиниста Кусикова, Петровка стала улицей Мариенгофа, Большая Никитская получила имя Шершеневича, ну и самая главная улица Москвы, Тверская, целых три дня носила имя Есенина.

Есенин, Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков были тоже детьми Серебряного века. Слова “перформанс” тогда не существовало, Гельман ещё не родился, но настроения среди творческой интеллигенции – вроде тех, которыми охвачены сегодня наши “пуськи-райки”, в годы революции были чрезвычайно сильны. Да что говорить, если крещёная русская женщина Марина Цветаева отвергала существование души (“да её никогда и не было, было тело, хотело жить”), если Владимир Маяковский кричал в своих стихах, словно обращаясь к какой-то уличной шпане:

*Я думал — ты всесильный божище,
А ты недоучка, крохотный божище,
Видишь, я нагибаюсь,
Из-за голенища
Достаю сапожный ножик.*

*Крылатые прохвосты!
Жмитесь в рай!
Ерошьте пёрышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
Отсюда до Аляски!*

Все они были хороши, даже осторожная Ахматова иногда проговаривалась о своих тайнах: “Дьявол не выдал, мне всё удалось...”

Так что почва для появления емельянов ярославских и демьянов бедных, а также для разрушения Страстного монастыря и прочих церквушек и храмов готовилась задолго до появления на исторической арене большевиков-безбожников. Но Есенин хоть покаяться успел:

*Ах, какая смешная потеря —
много в жизни смешных потерь!
Стыдно мне, что я в Бога верил,
горько мне, что не верю теперь...*

*Вот за это веселие мути,
отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
попросить тех, кто будет со мной:*

*Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
за неверие в благодать
положили меня в русской рубашке
под иконами умирать...*

Впрочем, он уже был в какой-то степени защищён от тёмных сил своими ранними поэмами – “Инонией”, “Иорданской голубицей”, “Сорокоуостом”, “Пантократором”.

В первую половину своей бурной и во многом легкомысленной молодости с пера Александра Пушкина слетели две неосторожные, но яркие сентенции. Одна в письме, написанном в ноябре 1825 г. своему старшему другу и даже в какой-то степени наставнику Петру Андреевичу Вяземскому по поводу сожалений последнего об утрате дневников Байрона: “Зачем ты жалеешь о потере записок Байрона? <...> толпа жадно читает исповеди, записки etc, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе”.

Второе суждение на ту же тему было высказано Пушкиным в том же году в заметках на полях статьи Вяземского “О жизни и сочинениях В. А. Озерова”, в которой Вяземский призывал писателей “согревать любовью к добродетели и воспалить ненавистью к пороку”. Пушкин вспыхнул: “Поэзия выше нравственности – или по крайней мере совсем иное дело. Господи Суси! Какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона”.

Один из архитекторов культа “оттепели” и хрущёвского шестидесятиничества А. Вознесенский в своё время с тинэйджерским восторгом ухватился, как за спасительную соломинку, за эти сказанные в полемической запальчивости пушкинские слова:

*Когда писал он Вяземскому
с искренностью пугавшей:
“Поэзия выше нравственности”,
читается — “выше вашей”!*

Стихи из книги, демонстративно названной “Соблазн”. Заодно в этой же книге Андрей Андреевич потревожил тень Пушкина, рассказав о его мимолётном романе с Анной Керн в следующих словах:

*Ах, как она совершила
Его на глазах у всех —
Россию завороживший
Смертельный грех.*

Особенно пикантно звучит здесь строка о “грехе”, “совершённом” “Аннушкой” (так называет её наш плейбой) “на глазах у всех”, словно действие происходило в скандальной в своё время передаче “За стеклом” на канале TV-6, ныне, слава Богу, исчезнувшей с экрана. Пушкин мог позволить себе поёрничать и в стихах и особенно в письмах, но до пошлостей он не опускался никогда. Конечно, соблазны мира сего велики, но особенно соблазнительны и живучи во все времена богоборческие соблазны. Почти все наши поэты Золотого века проходили через их горнило. Вспомним “Гавриилиаду” Пушкина, лермонтовского “Демона”, а заодно и его гусарские поэмы, пантеизм Тютчева и Фета. Но нельзя забывать о том, что все они завершали жизненный путь со словами и чувствами Нового завета. И эта грань была водоразделом между Золотым и Серебряным веком русской литературы. “Духом высокой средневековья” (по словам Юрия Кузнецова) было аскетичным до предела. Вплоть до костров инквизиции. Однако Возрождение, столь мощно повлиявшее на мировую жизнь и, в сущности, создавшее религию “прав человека”, отринув аскетизм средневековья, оживило все языческие начала, возвращавшие, направлявшие человеческую историю в дохристианские времена, окропило живой водой все ветхозаветные грехи и пороки. Нравы, утвердившиеся во время Ренессанса при дворе какого-нибудь Цезаря Борджиа, были похлеще, нежели нравы при дворе царя Ирода...

Духовное созревание Пушкина проходило с невероятной быстротой. В нём, казалось, одновременно жили, спорили друг с другом и искали взаимопонимания две ипостаси — чистого художника, для которого “поэзия выше нравственности”, и одновременно духовного пастыря общества. После рокового 25 декабря 1825 года Пушкин словно бы перерождается, осознав свою великую ответственность за каждый свой поступок, за каждую свою мысль и перед Богом, и перед Россией. Но основания к этому перерождению существовали и раньше. Почти одновременно с утверждением о том, что избранные (“Байрон”) могут быть “мерзки” и “подлы” — “но по-другому”, нежели “люди толпы”, поэт уже в поэме “Цыганы” (1824 г.) пришёл к осуждению такого рода гордыни, когда герой поэмы Алеко — человек из байронической породы избранных, вынужден признать высшую правоту старика-цыгана, человека “толпы”, сына “простонародья”:

*Оставь нас, гордый человек,
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Ты для себя лишь хочешь воли.
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел, — оставь же нас...*

В словах старика-цыгана, у которого “душа-христианка”, живёт евангельская истина о том, что для Бога все равны — и гении и простолюдины, и что кроме общественной нравственности миром правит другая, высшая сила, именуемая совестью.

Тайная связь нравственности и совести, совести и красоты, искусства и совести всю жизнь волновала Пушкина.

Вспомним, как простодушный Моцарт спрашивает своего коварного друга:

“Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?” – И сам с негодованием отвергает это предположение:

*Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда ль?
(выделено мной. – Ст. К.)*

В финале трагедии Сальери, ошеломлённый внезапным пониманием того, что он не гений, поскольку замыслил убийство, в своём монологе растерянно повторяет Моцарта:

*Ты заснёшь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные.*

Но не выдерживает и срывается:

*Неправда!
А Бонаротти? или это сказка
Тупой бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?*

“Не правда ль?” – простодушно спрашивает Моцарт своего коварного друга, на что последний, уже попотчевавший друга смертельным ядом, то ли шепчет, то ли кричит самому себе: “Неправда” и цепляется за легенду, судорожно вспоминая, что Микеланджело Бонаротти якобы умертвил натурщика, чтобы естественнее изобразить умирающего Христа. Трагедия заканчивается вопросительным знаком, но поставлен он не Пушкиным, а Сальери.

На разных отрезках своей недолгой жизни Пушкин по-разному понимал соотношение красоты и совести, добра и зла. И всё-таки он, изначально осознавая различия между нравственностью и совестью, понимал, что “нравственность” есть нечто преходящее, развивающееся, отражающее условности общественной жизни, нечто меняющееся в связи с изменениями жизни человечества. “О, времена! О, нравы!” Эта латинская поговорка навсегда соединила нравственные начала с временами. То, что считалось обычным и естественным в языческие времена (рабство, бои гладиаторов, любовные развлечения Клеопатры, отношения между людьми в эпоху Декамерона и Бенвенуто Челлини, лозунги революции и гражданской войны вроде того, что “нравственно всё, что способствует победе пролетариата”), то неизбежно превращалось с течением времени в отработанный шлак истории. Помещик Троекуров и его крепостной крестьянин жили по разным нравственным установлениям. Совесть же, как Божественный дар всему человечеству, всем “временам и народам” и каждому человеку лично, является неиссякаемым источником высшего понимания жизни и вечной нашей надеждой на спасение.

Борис Годунов в трагедии Пушкина как государь и как покровитель всех своих подданных ведёт себя безупречно, то есть нравственно.

*Я думал свой народ
В довольствии и в славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать <...>
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы <...>
Я выстроил им новые жилища...*

И всё равно народ почему-то не принимает щедроты и благодеяния царя, в глубине души осознающего свою драму нечистой совести:

*Ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда — беда!*

Годуновский монолог заканчивается знаменитыми словами: “Да, жалок тот, в ком совесть не чиста!”. Попробуем заменить в монологах Годунова “совесть” на “нравственность” – и почувствуем бесконечную разницу между этими вроде бы родственными понятиями.

“Угрызения совести”, “ни стыда ни совести”, “проснулась совесть”, “поступать по совести”, “моя совесть чиста” – ни в одном из этих примеров невозможно поменять “совесть” на “нравственность”.

Законы совести не пишутся отдельно для Пушкина и для Арины Родионовны, для великого Моцарта и скромного трактирного скрипача, для Бориса Годунова и безымянного юродивого. Поэзия выше нравственности? Мысль спорная. Однако “выше совести” поэзия быть не может. Нравственность может быть пособницей ханжества, или лицемерия, или резонёрства. Совесть же, как благородный металл, не вступает ни в какие соединения с этими “кислотами”.

Весьма своеобразно, но убедительно понимал нравственность Василий Васильевич Розанов:

“Я не враждебен нравственности <...> “Правила поведения” не имеют химического сродства с моей душою; и тут ничего нельзя сделать <...> Люди “с правилами поведения” всегда были мне противны, как деланные, как неумные <...> Но разве не в этом заключается мой восторг, что когда увидишь великодушного “нравственного” человека, которому тоже его “нравственность” не приходит на ум, а он таков от Бога”.

Нет никаких сомнений в том, что в данном случае Розанов говорит о совести, и его взгляд близок взгляду другого персонажа Серебряного века о том, что “книга есть кубический кусок горячей дымящейся совести – и больше ничего” (Б. Пастернак, 1922 г.)

Приблизительно в то же время (1918 год) Иван Бунин, осуждавший бессовестность и безбожность Серебряного века, напишет стихотворенье-молитву о России:

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья
и лазурь, и полуденный зной.
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”*

*И забуду я всё — вспомню только вот эти
полевые цветы меж колосьев и трав —
и от сладостных слёз не успею ответить,
к милосердным коленям припав.*

Вот такими молитвами-стихами Иван Бунин спасал свою душу от соблазнов Серебряного века.

* * *

Но дело даже не в том, что в своих статьях, письмах, заметках Пушкин последекабрьского периода выступает как защитник или даже как поборник нравственности. Это можно объяснить естественным после декабрьских потрясений 1825 г. изменением его взглядов на благотворную роль государства в смягчении общественных нравов, на его усилившийся скептицизм по отношению к революциям и бунтам, на его постепенное, но прочное вхождение в религиозно-духовный мир России. Однако, может быть, самым надёжным свидетельством пушкинского преображения является его творчество. Всё чаще и чаще в его поэзии, прозе, драматургии появляются герои, которые побеждают, овладевают любовью читателей, вознаграждаются за своё смирение, доброту, за верность чести и долгу, за то, что живут по совести. Это отец Гринёва и сам Гринёв, это вся семья Мироновых – сам комендант Белогорской крепости, его жена Егоровна, их дочь Маша*. Даже Савельич – верный крестьянский слуга молодого барина – своей преданностью весьма взбал-

* Изощёрнейший читатель и истолкователь пушкинского творчества В. В. Розанов писал: “Есть вид работы и службы, где нет барина и господина, владыки и раба: а все делают дело, делают гармонию, потому что она нужна <...> это понимал Пушкин, когда не ставил себя на капельку выше “капитана Миронова” (Белогорская крепость), и капитану было хорошо около Пушкина, и Пушкину было хорошо с капитаном”.

мошному барчуку симпатичен нам, как и трогательный в своём простодушии житель села Горюхина Иван Петрович Белкин.

Но как нам отвратителен коварный предатель Швабрин, человек без чести и без совести! Восхищаясь широтой души Пугачёва, мы одновременно ужасаемся его жестокости, его бесчеловечной способности проливать кровь людскую, как водицу... В конце концов, когда перед казнью он возвышается до покаяния и просит у православного народа прощения за своё «окаянство», мы скорбим, но понимаем, что так и должно было случиться. Много невинной крови пролил этот «сверхчеловек» из народа. Терпят жизненное поражение люди гордыни и власти – Годунов с Самозванцем, авантюристка Марина Мнишек, и в этом противостоянии добра и зла наши чувства обращены к смиренным евангельским людям русской истории – к летописцу Пимену, к юродивому Василию.

Чеченец с христианской душой Галуб терпит оскорбления от отца и от матери, но не желает жить по племенным законам кровной мести. Христианская кротость старика из сказки о золотой рыбке побеждает тщеславную алчность старухи. О маленьких трагедиях и говорить нечего. Судьба суперменов – Вальсингама, Дон Жуана, Сальери – печальна. Они, дерзнувшие восстать против совести, получают от сил тьмы по своим заслугам. Терпит поражение «в борьбе неравной двух сердец» убийца своего друга Онегин, а Татьяна выходит из этой драмы как идеал русской женщины для всех будущих времён. Герман из «Пиковой дамы», по злой воле которого погибает Лиза, кончает жизнь в сумасшедшем доме... Верность долгу Татьяны Лариной обезоруживает гордыню коллекционера женских сердец Онегина.

Одним словом, все сверхчеловеческие герои, живущие в алчности, в сознании своей избранности, в брезгливой неприязни к смиренным и кротким людям совести, остаются так или иначе наказанными судьбой, обстоятельствами жизни и высшей волей. Русская литература вышла отнюдь не из гоголевской «шинели», потому что ещё до Гоголя Пушкин определил и узаконил нравственную её линию, по которой дерзкие и своевольные натуры – Наполеон, Раскольников, Чичиков, Волохов, Базаров, чеховский Солёный из «Трёх сестёр» – и т. д., несущие в жизнь зло, мошенничество, насилие и кровь, в конце концов завершают свои судьбы по Священному писанию: «Мне отмщение и аз воздам». Да и с «Медным всадником» всё не так просто. **«Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?»** Слово «гордый», конечно, относится не к коню, а к всаднику, **«чьей волей роковой великий город основался»**... А что двигало всадником – гордыня или историческая необходимость – историки спорят до сих пор.

Пушкин в молодости добродушно иронизировал над европейскими романами XVIII века, которые читала Татьяна (а до Татьяны читала её матушка), за то, что в них герои и героини олицетворяли пороки и добродетели, за то, что они грешили наивным морализаторством:

*Питая жар чистойшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.*

Но Пушкин последекабрьского периода начинает утверждать в своём многожанровом творчестве изображение жизни с такими присадками дидактики и нравоучительности, над которыми он сам посмеивался в молодости, когда он разделал Вяземского, написавшего, что «искусство должно осуждать пороки и воспевать добродетели!» Так начинался его разговор о нравственности, которой закончился простыми и великими словами из «Памятника»: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». О том, как стремительно развивалось мировоззрение Пушкина, как менялись его взгляды на свою судьбу, на историю России, свидетельствует сравнение двух важнейших в его эпистолярном наследии писем. Одно из них брату Льву, написанное в начале января 1824 года из Одессы:

«Ты знаешь, что я дважды просил о своём отпуске через его министров и два раза воспоследовал всемирнейший отказ. Осталось одно – писать

прямо на его имя – такому-то в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять трость и шляпу и поехать смотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпёж. *Ubi bene, ibi patria*. А мне bene там, где растёт трин-трава, братцы! Были бы деньги, а где мне их взять? Что до славы, то ею в России мудрёно пользоваться”.

Другое, знаменитое, сочинилось им в октябре 1836 года и предназначалось Чаадаеву: “Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблён, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал”.

За эти годы, с 1824-го до 1836-го, Пушкин коренным образом изменил свои взгляды на историю России, на религию, на нравственность, на французскую революцию и революцию вообще, на политическую борьбу, на, говоря сегодняшним языком, семейные и традиционные ценности, на призвание поэта в России и в мире. Более того, многие имена и события русской истории, которые в молодые годы были талантливо, но несправедливо осмеяны и унижены им в его запальчивых эпиграммах, письмах, беглых литературных заметках или разговорах (Александр Первый, Екатерина Вторая, Николай Первый, Карамзин, граф Уваров и т. д.), в более поздних размышлениях и сочинениях получали иную, исторически объективную и реабилитирующую их в глазах потомства оценку. Хотим мы этого или не хотим, но знаменитая идеологическая формула николаевской эпохи и вообще русского XIX века “Православие. Самодержавие. Народность” так или иначе была связана с этой тектонической эволюцией пушкинских взглядов. Но именно этой эволюции не хотели в упор видеть все незаурядные таланты Серебряного века, от Блока до Цветаевой, от Маяковского до Ходасевича. А между тем эта духовная эволюция ещё при жизни Пушкина была ясна пусть не многим, но самым пронзительным умам пушкинской эпохи – Вяземскому, Жуковскому, Гоголю, Смирновой-Россет и даже человеку, ставшему впоследствии политическим врагом Пушкина – Адаму Мицкевичу, который вскоре после смерти поэта вспомнил:

“Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарён необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утончённым и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений. Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта; находил я в нём характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил: всё, что было в нём хорошего, вытекало из сердца. В этой эпохе он прошёл только часть того поприща, на которое был призван, ему было тридцать лет. Те, которые знали его в это время, замечали в нём значительную перемену. Вместо того, чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые некогда занимали его исключительно, он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песней и углубляться в изучение отечественной истории. Казалось, он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву. Одновременно разговор его, в котором часто прорывались задатки будущих творений его, становился обдуманнее и степеннее. Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы религиозные и общественные, о существовании коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию”.

Другими словами писал в “Опавших листьях” об этом нравственном и необыкновенно питательном для души человеческой свойстве пушкинского творчества В. Розанов:

“Пушкин... Я его ел. Уже знаешь страницу, сцену: и перечтёшь вновь; но это еда. Вошла в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от грехов его, “когда для смертного умолкнет шумный день” – одинаково с 50-м псалмом (“Помилуй меня, Боже”). Так велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда”. И недаром высокомерные дети Серебряного века исключили Розанова из своего сектантского религиозно-философского общества. Такой Розанов и такой Пушкин им были не нужны и даже враждебны.

Марина Цветаева, несомненно, искренне любила и почитала Пушкина, преклонялась и перед его гением, и перед памятником на Тверском бульваре. Но тем не менее запах и очарование “цветов зла”, взращённых на серебряно-вековой почве, настолько властвовали её душой, что она в своём монологе “Искусство при свете совести” уравнила Пушкина с Вальсингамом, вернее, “опустила” его до Вальсингама, то есть на уровень Серебряного века:

“Пушкину, чтобы написать “Пир во время чумы”, нужно было быть Вальсингамом”; “Я самовольно отождествляю Пушкина с Вальсингамом и не отождествляю его со священником”; “Мы в песне – апогее Пира – уже утратили страх, мы из кары – делаем пир, из кары делаем дар <...> не в страхе Божьем растворяемся, а в блаженстве уничтожения”; “Гений Пушкина в том, что он противовеса Вальсингамову гимну, противоядия чуме не дал”...

Как все Сивиллы и Кассандры Серебряного века, Цветаева была зачарована высшими (или низшими) силами, которые и у неё, и у Александра Блока, и у Ахматовой назывались “стихиями”. **“Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума – или как их ещё зовут”**. Но жить в стихиях и управляться со стихиями, когда они “накатывают”, могут только одержимые натуры. Поэтому **“одержимость”** (слово Цветаевой) – высшее свойство гения: **“В человека вселился демон. Судить демона (стихию)? Судить огонь, который сжигает дом?”** Но дойдя до этого рубежа, Цветаева понимает, что нужно дать последний бой той духовной силе, которая называется “совесть”, и бросается на неё в психическую атаку: **“Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимость атрофии совести, тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя”**; **“Само искусство – тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона”**... Но тут, как говорится в русской народной пословице, “коготок увяз – всей птичке пропасть”, – Цветаевой приходится в угоду “стихиам” сделать последний шаг: **“Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем случае христианский Бог входит в сонм его богов”**... Рубикон перейдён, и одержимым остаётся только с жестоковывным упорством умирать на этом рубеже, поскольку впереди бездна и отступить некуда. **“Права суда над поэтом никому не дам”**. **“Единственный суд над поэтом – само-суд”**...

Сам Пушкин, в отличие от “бесовской одержимости”, точно изображённой им в сновиденьи Гришки Отрепьева, говорил о “божественном глаголе”, о “слезах вдохновенья”, не более того. Одержимость (термин Цветаевой) была идеалом для избранников и избранниц Серебряного века. “Словно та, одержимая бесом, я на Брокен ночной неслась”; “Я пила её в капле каждой и бесовскою чёрной жаждой одержима, не знала, как мне разделиться с бесноватой”... (А. Ахматова) Христос относился к “одержимым” как к больным, как к “бесноватым”, исцелял их, изгонял из них бесов, которые вселялись в свиней и бросались в пропасть.

Пушкин не хуже наших сивилл знал, что поэтическое откровение рождается из особого состояния души:

*Пока не требует поэта
к священной жертве Аполлон,
в заботы суетного света
он малодушно погружён.
Молчит его святая лира,
душа вкушает холодный сон
и меж детей ничтожных мира,
быть может, всех ничтожней он.
Но лишь Божественный глагол
до слуха вещего коснётся...*

Серебряный век, лукаво склонявшийся перед Пушкиным, в сущности, бросил ему вызов устами Ахматовой:

*Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...*

Александр Сергеевич “знал”, что “сор” не заменит “Божественного глагола”, без прикосновения которого “молчит его святая лира”. Он не искал вдохновения ни в каком “соре”. Пушкин мог заявить в частном письме, что “поэзия должна быть глуповата” (а точнее — “простодушна”), но он никогда бы не написал своей рукой, что она должна быть (или может быть) “бесстыдной” и “бессовестной”. Помнится, что Цветаева в эссе “Искусство при свете совести” восхищалась тем, что в какой-то школе ученики старших классов пришли к выводу, что наиболее привлекательный герой в пушкинском “Борисе Годунове” — это Самозванец.

Пусть меня растерзают “фанаты” Марины Цветаевой и специалисты-профессора по Серебряному веку, но когда я увидел пляску наших “кассандр” перед алтарём в Храме Христа Спасителя, то подумал: “Одержимые!” “Накатило!”... “Стихия”, доведённая до площадного идиотизма. Какая-то чёрная частица этой бесовской одержимости есть и в жутком одновременном всплеске рук над головами тысячных залов во время концертов отечественных и зарубежных “поп-идолов”...

Ахматова обо всём этом сказала проще: “Поэтам вообще не пристали грехи”... Правда, Лермонтов мыслил иначе: **“Но есть, есть Божий Суд, наперсники разврата”**, поскольку он был из Золотого века...

Вот что ответил бы по этому поводу Марине Ивановне Цветаевой “Вальсингам-Пушкин”. **“Безнравственное сочинение есть то, коего целью и действием бывает потрясение правил, на коих основано счастье общественное или человеческое достоинство. Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая её божественный нектар в воспалительный состав, а музу в отвратительную Канидлю”** (“Опровержение на критики”, 1830 г.)

“Для удовлетворения публики, всегда требующей новизны и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображениям отвратительным, мало заботясь об изящном, об истине, о собственном убеждении. Но нравственное чувство, как и талант, даётся не всякому (...). Мысли, как и действия, разделяются на преступные и на не подлежащие никакой ответственности (...). Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости, пороки на совесть каждого. (...) Но французские писатели поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, т. е. идеалом! Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности; награда добродетели, наказание порока были неприменным условием всякого их вымысла; нынешние, напротив, любят выставлять порок всегда и везде торжествующим и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие”. (“Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной так и отечественной”. 1836 г.)

“Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал своё имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием её была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная. Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стихами, как важной отраслью умственной деятельности человека (...) наконец и он однажды в своей жизни становится поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободой излился в циничной поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов обругана...” (“О ничтожестве литературы русской”. 1834 г.) В сущности, мысли, высказанные в этих отрывках, являются приговором Пушкина Серебряному веку.

Несомненно, что, размышляя об “Орлеанской девственнице” Вольтера, Пушкин имел в виду и свою поэму “Гавриилиада”. Возможно, что поэт вспоминал о ней же, когда писал: **“Многое желал бы я уничтожить, как недо-**

стойное и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготеет, как упрёк, на совести моей”.

Возможно, что и великое его стихотворение “Когда для смертного умолкнет шумный день” заканчивается строфой, в которой Пушкин говорит об этом тяжком грехе молодости:

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.*

(выделено мной. — Ст. К.)

Совесь, власть которой над творцом отвергала Цветаева, мучила Александра Сергеевича. А потому о “Гавриилиаде” надо поговорить поподробнее.

* * *

В 1828 году слуги одного петербургского офицера написали жалобу петербургскому митрополиту Серафиму, что их хозяин читает им “развратное сочинение” под заглавием “Гавриилиада” и тем самым отвращает их от православной веры. Митрополиту была передана и рукопись поэмы, под которой стояла фамилия Пушкина. Скандал достиг ушей императора, который приказал разобраться в происшедшем. По указанию государя Пушкина допросили, чтобы выяснить, им ли была написана поэма, если им, то в каком году, имеется ли текст поэмы при нём. Пушкин ответил кратко: “1. Не мною; 2. В первый раз я видел Гавриилиаду в Лицее в 15-м или 16-м году и переписал её; не помню, куда дел её, но с тех пор не видел её. 3. Не имею. 10-ого класса Александр Пушкин”. Но государь остался недоволен подобным ответом и призвал члена комиссии, образованной для расследования дела о “Гавриилиаде”, вновь спросить у Пушкина: “От кого получил он в 15-м или 16-м году, находясь в лицее, упомянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под именем Пушкина”. На этот вопрос Государю было отвечено так:

“1828 года, августа 19, нижеподписавшийся 10 класса Александр Пушкин вследствие высочайшего повеления, объявленного г. главнокомандующим в С.-Петербурге и Кронштадте, был призван к с.-петербургскому военному губернатору, спрашиваем, от кого именно получил поэму под названием Гавриилиада, показал: — Рукопись ходила между офицерами гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список сжёг я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное”.

28 августа Государь прочитал ответ Пушкина, после чего приказал: “Гр. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем”.

Измученный допросами поэт 1 сентября 1828 г. написал в письме П. Вяземскому: “Ты зовёшь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее, — “прямо, прямо на восток”. Мне навязалась на шею преглупая штука. До правительства дошла, наконец, Гавриилиада; приписывают её мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дм. Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами”.

Продолжение дела изложено в протоколе комиссии так: “Главнокомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив вышеупомянутую собственноручную его величества отметку, требовал от Пушкина, чтобы он, видя такое к себе благоснисхождение его величества, не отговаривался от объявления истины, и что Пушкин по довольном молчании и размышлении спрашивал: позволено ли будет ему написать прямо государю императору, и получив на

сие удовлетворительный ответ, тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил графу Толстому. Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное его величеству, донося и о том, что графом Толстым комиссии сообщено”.

Письмо Пушкина государю хранилось в тайне в императорских, а потом в советских архивах более 160 и лет и лишь недавно было найдено и опубликовано в начале нашей перестройки. Пушкин признал в письме свое авторство. . .

Итак, Александр Пушкин трижды отрёкся от “Гавриилиады” и сообщил Вяземскому, что автором поэмы был якобы покойный к тому времени князь Дм. Горчаков. Но это было вынужденным лукавством.

Валерий Брюсов, справедливо посчитавший, что автором “Гавриилиады” всё-таки является Пушкин (“до подвига, совершённого самим Пушкиным, никто не мог написать такой поэмы по-русски: не существовало для того ни языка, ни стиха”), полагает, что причины к “несознанке” были вескими: Пушкина только что государь вернул из ссылки, а тут новое обвинение. Кроме того, он был влюблён в Гончарову и готов был сделать ей предложение – а тут его обвиняют, что он автор богохульной поэмы. . . “Рушилась надежда на брак с Гончаровой”. Но на мой взгляд, в этой истории больше всего Пушкина терзали не опасности, грозящие ему со стороны императора или семьи Гончаровых, а угрозы собственного стыда и собственной совести за совершённое по молодому легкомыслию кощунство. О том свидетельствуют многие современники поэта. **“Я помню, как Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном напоминании об этой прелестной пакости”** (из воспоминаний С. А. Соболевского). “Я помню, как однажды один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме и стал было читать из неё отрывок; Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин, коснувшись этой тупой выходки, говорил, как он дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости. И ежели у него ещё иногда прорывались наружу неумеренные страсти, то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий” (М. Ю. Юзефович. Воспоминания о Пушкине).

Из воспоминаний А. Никитенко:

“Авр. С. Норов рассказал мне следующий анекдот о Пушкине. Норов встретился с ним за год или полтора до его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался и обнял его. При этом был приятель Пушкина Туманский. Он сказал поэту: “Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжёг твою рукописную поэму”. Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда топился камин, и Норов по прочтении пьесы тут же бросил её в огонь. – “Нет, – сказал Пушкин, – я этого не знал, а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такую гадостью, настоящий мой враг”.

И вообще, размышления о своей греховности и о болящей совести являются своеобразным завещанием Пушкина потомкам. На публикацию “Гавриилиады” с пушкинских времён и до февральской революции 1917 года был наложен и светской и церковной цензурой строжайший запрет. Но сразу после Февраля семнадцатого, как и положено после любой революции, начиная с той и кончая революцией 1991–1993 гг., цензура отменяется и начинается вакханалия “свободы слова”. И как по сему торжествовал сын Серебряного века Владислав Ходасевич в своей статье “О “Гавриилиаде”!

“Осенью 1822 г. в Кишинёве Бессарабской губернии Россия в лице Пушкина, создавшего “Гавриилиаду”, пережила Ренессанс”.

“Только через восемьдесят один год после смерти Пушкина вышла “Гавриилиада”, отпечатанная в России, без сокращений и пропусков. Она была под запретом, и читали её полностью лишь немногие, кому удавалось достать экземпляр заграничных изданий поэмы”.

“Всеми русскому обществу пора, наконец, знать Пушкина, а чтобы знать поэта, его раньше надо прочитать всего, без изъятий”.

“Она объявлялась, во-первых, кощунственной, во-вторых, непристойной”.

“Пушкин, когда писал “Гавриилиаду”, не веровал вовсе”, “как художник он равнодушно внимал “добро и зло”.

“Счастливы тот, кто в самом грехе и зле мог обретать и ведать эту чистую красоту”.

Пушкин стыдился своего тяжкого греха – “Гавриилиады”, Ходасевич радуется бесстыдству времени, позволившего “богохульное и непристойное” произведение сделать достоянием общества. Отцы-основатели Серебряного века, а потом их дети и внуки, вся цепочка имён вплоть до Вознесенского, нащупав болезненные, греховные изъяны в пушкинском творчестве, словно мухи, облепили его незаживающие раны, не понимая, что самым строгим цензором по отношению к себе был сам Пушкин. Он пытался вычеркнуть из истории и из своей памяти “Гавриилиаду”, но во времена всех последующих революций каждая новая “волна литературной черни”, игнорируя волю поэта, устраивала свои шабаши, в который раз опуская Пушкина до самих себя. Можно ещё вспомнить о том, что и гусарские поэмы Лермонтова, более непристойные, нежели “Гавриилиада”, впервые были в России опубликованы в 1913 году – в разгар “серебряновекового” аморализма с большими купюрами, а полностью в наше подлое время – в 1991 году под названием “Эротические стихи Лермонтова”. Поневоле, думая о разнице между Пушкиным и его апологетами из Серебряного века и “оттепели”, радуясь, что он, как и они сами, “мал и мерзок”, приходится вспомнить завершение его мысли: **“врёт, подлецы; он и мал и мерзок не так, как вы – иначе”**. В первую очередь хотя бы потому, что его душа была открыта для покаяния.

В 1921 году в Петербурге вышел маленький сборничек, составленный из выступлений литераторов Серебряного века, посвящённый 84-й годовщине со дня смерти Пушкина, в котором были опубликованы стихи Кузмина, речь Блока “О назначении поэта”, речь В. Ходасевича “Колеблемый треножник”, речь Эйхенбаума о поэтике Пушкина. Но все они, вольно или невольно, умолчали и не решились сказать в эпоху революционного террора и гражданской войны, в преддверии ленинского гонения на церковь о том, что бесстрашно сказал самый старший из выступавших – знаменитый адвокат, юрист и православный человек А. Ф. Кони: **“Своим проницательным умом и чутким сердцем Пушкин сознавал, что в осуществлении справедливости в связи с деятельной любовью нравственный долг сливается с руководящим велением христианства, предписывающего возлюбить ближнего, как самого себя”**. Говоря это, старик Кони скорее всего вспоминал одно из последних пушкинских стихотворений – переложение молитвы Ефрема Сирина, читаемой в Великий пост, и в то грозное время не нужное ни коммунистам, ни символистам, ни футуристам, ни акмеистам, ни всем прочим революционерам из разных сфер великой и жёсткой эпохи:

*Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлететь во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья.
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи...*

Эти волшебные по простодушию строки могли бы сочинить – Пимен-лептописец, Иван Петрович Белкин, безымянный священник из “Пира во время чумы”, старик рыбак из “Сказки о золотой рыбке” и многие другие персонажи пушкинской вселенной, если бы они обладали его гениальностью.

“Поэма без героя” наполнена предчувствием того, что на бал-маскарад “творческой интеллигенции” 1913 года должен вот-вот явиться “владыка мра-

ка”, “князь тьмы”, “Воланд той эпохи”. Но является всего лишь Блок, похожий на “Демона”, за ним Кузмин — “Сам изящнейший Сатана”, ряженные “содомские Лоты”, “Калиостро” с “Мефистофелем”, а настоящего хозяина шабаша всё нет и нет...

Но Александр Сергеевич знал, где он обитает и что его место отнюдь не на земных шоу “во время чумы”. Пушкин не опускался до того, чтобы кокетничать и играть с Владыкой тьмы в маскарадные игры:

*Как с древа сорвался предатель ученик,
Диавол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геены жадной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожжёт уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.*

Именно такой Пушкин, написавший незадолго до смерти такие стихотворенья, был не нужен и даже чужд Маяковскому, Ахматовой, Кузмину, Цветаевой, Ходасевичу. И даже Блоку.

Что же касается “красоты, которая спасёт мир” и которой поклонялись поэты Серебряного века, то соблазны этой языческой и греховной красоты были ведомы Пушкину более, чем кому-либо. Он знал цену этой красоте, освобождённой от совести, когда вспоминал свои первые “впечатления бытия”, свои прогулки по аллеям в окружении мраморных фигур в садах Царскосельского лица:

*Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.*

*Один (Дельфийский идол) лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.*

*Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.*

Один из этих “идолов” (“бесов”, “демонов” и т. д.) — Аполлон. Другой то ли Дионис, то ли Афродита... Пушкин знал, что дохристианский мир купался в море красоты, которое одновременно было морем крови, зла, растления и порока. И эта красота не могла **спасти** мир, а поэтому и произошло чудо — явление **Спасителя**. Мир спасла совесть.

* * *

В пятидесятые годы, когда я заканчивал среднюю школу, мы изучали Пушкина вроде бы неплохо: учили наизусть стихотворенья и отрывки из поэм, за что я до сих пор благодарен своим учителям; писали сочинения на самые разные темы, сочинения, может быть, не особенно оригинальные, но в то же время и необходимые; не говорю уже о том, что читали мы Пушкина в несравненно большем объёме, нежели нынешние школьники... И однако, однако был один очень большой минус в добротном изучении Пушкина тех лет: все учебники и все учителя, вся методика внушала нам, что Пушкин необычайно светел, понятен, общедоступен настолько, что и раздумывать о его творчестве нечего: он сам всё нам разжевал, сам всё объяснил, и наша задача лишь усвоить это общедоступное знание.

И помнится, что я был крайне поражён, когда впервые прочитал у Достоевского: “**По-моему, Пушкина мы ещё и не начинали узнавать: это гений, опередивший русское сознание ещё слишком надолго**”. А несколько по-

зднее мою школярскую самоуверенность смутило глубокое пророчество Гоголя о том, что **“Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа; это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет”**. Всё вроде бы солнечно, ясно, просто — и вдруг аж через двести лет только всё определится: вырастет русский человек до идеала, очерченного Пушкиным, или нет...

* * *

Сколько бы раз я ни перечитывал Пушкина — всегда заново в моей душе из каких-то неведомых глубин поднимается волна восторга, рождаемого вещными строками:

*Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Метались смущённые народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.*

Это сказано не только о Великой французской революции, не только об Отечественной войне 1812 года, не только о пушкинском времени — но о судьбах всех времён, всех революций, всех поколений. Пушкин — угадчик, толкователь неясного и таинственного гула, сопровождающего исторические сдвиги, выразитель сверхчеловеческих идей, которыми движется история. Он чувствовал её ход и движение, как гениальный геолог чувствует подземное перемещение земных материков, на которых живут обычные люди, не подозревающие того, что ни одна точка земной тверди не находится в полном покое.

В мировой истории, по Пушкину, герои и великие люди величественны не сами по себе, не потому что они сильные натуры, деятели и авантюристы — нет, каждый из них есть воплощение некой мировой идеи, сосредоточившей волю народа или волю государства, волю искусства или волю фанатизма, волю зла или волю добра. Таковы у него владыка Запада Наполеон и Магомет, Емельян Пугачёв и Моцарт, Борис Годунов и Пётр Великий, превращающийся на протяжении пушкинского творчества в Медного Всадника, христианин Тазит и супермен Герман.

И вот это не механическое, а живое проникновение в недра человеческой истории, в глубины народного духа, в “святая святых” есть урок нашему искусству, упрощающему ради сиюминутных интересов (злоба дня, массовая культура, классовые догмы, узкопартийные страсти, демагогия “народных витий”) сложнейшие отношения духа и материи, вождя и народа, человека и общества.

*Смотри, вокруг тебя
Всё новое кипит, бывшее истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколенья.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свести приход.*

Нет, торопливо свести с расходом приход невозможно, как невозможно, глядя в прошлое и рассуждая, кто прав, кто виноват, на уровне узкого юридического мышления постигнуть сущность “игралища таинственной игры”, когда свобода, защищаясь и проливая кровь, перерождается в тиранию, гений — в злодейство, справедливость — во зло и насилие. А Пушкин понимал это уже в свои двадцать пять лет, когда в год Декабрьского восстания в стихотвореньи “Андрей Шенье” писал:

*Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство.
И мы воскликнули: Блаженство!*

*О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари...*

И это не просто мозаика из взаимоисключающих воззрений и картин, не пресловутый плюрализм, а художественно цельное исследование громадного Тела Человечества, где всё органически взаимосвязано перетекающими и перерождающимися друг в друга потоками энергии, воли, крови и духа.

Объять всё многообразие стихийной жизни человечества, остаться цельным, не впадая в соблазнительную односторонность, можно лишь беспристрастным научным анализом либо художественным взором. Кем был Пушкин? Певцом государственности? Избранником чистого искусства? Странником народной жизни? Апологетом декабристов? Кто его любимые сердцу герои? Воины 1812 года? Аполлон? Чиновник Евгений? Пимен-летописец? Капитанская дочка?

Я не раз вспоминал, как известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди, желая озадачить нас, желторотых первокурсников филологического факультета МГУ, на первой же лекции по Пушкину поднялся на трибуну и с вызовом обратился к аудитории: “Ну как вы считаете: Пугачёв – патриот?” – “Патриот!” – раздалось несколько нестройных голосов. “А капитан Миронов патриот?” – “Патриот!” – “Ну теперь объясните мне, почему один патриот повесил другого патриота?..”

Толкование истории как процесса, развивающегося по какому-либо “ведомственному” руслу – классовому, групповому, партийному, сектантскому – опасно тем, что упрощает смысл человеческого бытия. Его носители высокомерно полагают, что для избавления от бед есть простые и эффективные пути, чаще всего насильственного свойства, вступают на них без сомнений и тем самым быстро увеличивают количество бед и несчастий, от которых мечтали вроде бы избавить мир. Именно о носителях таких взглядов с горьким чувством сказал в своё время Пушкин: “Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка”.

Цельность взгляда на мир была для Пушкина неразрывно связана с красотой сего мира. Пушкин, конечно, понимал, что, допустим, Петр I – не меньший тиран, нежели все другие, что его указы написаны кнутом крепостника, что Петербург построен на народных костях, что под копытами Медного Кентавра погиб не один Евгений, а много ему подобных. И тем не менее, подводя окончательный исторический итог деятельности Петра, преодолевая соблазны осуждения или оправдания с той или иной частной точки зрения, поэт создаёт облик героя как бы с точки зрения вечной.

*Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
— За дело, с Богом! — Из шатра,
Толпой любимцев окружённый,
Выходит Пётр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.*

Проходит время, и, любуясь сокровищами Грановитой палаты либо египетскими пирамидами, мы не мучим свою совесть вопросом: а чего это стоило? Мы просто любуемся ими.

Потому-то у Пушкина прекрасно всё, что касается Петра: и “**царский пир его прекрасен**”, и прекрасен город, возведенный им с “**однообразной красотью пехотных ратей и коней**”, прекрасен и памятник герою Полтавы:

*Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!
А в сём коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?*

Но в обоих отрывках – из “Полтавы” и “Медного Всадника” – рядом со словом “прекрасен”, как близнец, стоит слово “ужасен”. Даже в этом, словно в капле воды, отразилась пушкинская воля к изображению цельности мира, роковой взаимосвязи свободы и тирании, личности и государства гуманизма и бесчеловечия. Пушкин наслаждается, восхищается, поражается тайной взаимосвязью внешне враждующих исторических сил, и на наших глазах происходит нечто подобное чуду, когда человеческий гений изящным художественным усилием постигает импульсы мировой истории. *“Так тяжкий млат, дробя стекло, куёт булат”*. Под пером Пушкина история ведёт себя, словно булат под ударами тяжкого молота: не разлетается вдребезги, а становится текучей, ковкой и принимает единственно необходимые формы, выражающие её сущность. Разве это не урок для нашего сознания, упрямо желающего сегодня постичь исторические события лишь в одной выгодной для нас ипостаси, когда злорада прошедшего дня лишь на время опровергается злобой дня настоящего. . .

Инстинкт Совести всегда спасал Пушкина от соблазна выбрать какой-либо простой и удобный, понятный для общественного мнения вариант толкования истории. Он никогда не хотел и не умел потрафлять вкусам моды, желаниям толпы, диктату сильных мира сего. Недаром, когда его философия истории окончательно сформировалась, и сознавая, что её глубина – глубина “Медного Всадника” и “Бориса Годунова” – не по плечу общественному мнению, окружавшему его, сознавая, что его не поймут – и что это неизбежно, Пушкин в 1829 году писал в набросках предисловия к “Борису Годунову”: *“Я выступаю перед публикой, изменив свою раннюю манеру. Не имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ишу благосклонной улыбки моды. Добровольно выхожу я из ряда её любимцев. . .”* Для такого шага необходимо – мужество. Мужество это может быть рождено лишь любовью к истине. И вот этот завет Пушкина – служить Истине, а не моде, остаётся вечным уроком для русских поэтов.

* * *

Богатство, цельность, гармоничность, таинственность пушкинского мира, собственно, и были главной причиной того, что в разные периоды нашей истории всяческие разрушительные силы объявляли ему войну, ибо этот мир никак не вписывался в их узкое и всегда ущербное понимание жизни.

Очередной (после нападок нарождающейся буржуазной журналистики в лице Булгарина, Греча, Сенковского) натиск пушкинскому наследию пришлось выдержать со стороны нигилистов-шестидесятников, наиболее ярким и талантливым идеологом которых был публицист Д. Писарев. “Польза”, “прагматизм”, “ближайшие социальные задачи” – вот что было написано на знамёнах этого яркого, но культурно неполноценного поколения. Однако его “архиреволюционность” не выдержала творческого спора с гигантами русской художественной мысли – Достоевским, Тургеневым, Тютчевым, Львом Толстым, которые и в практике, и в теории продолжили и укрепили пушкинскую традицию. Венцом этой борьбы стала речь Фёдора Михайловича Достоевского, произнесённая им в год открытия памятника Пушкину в Москве. Достоевский высмеял прагматиков, утверждавших, что Пушкин – апологет чистого искусства, и, заглянув в будущее, объединил явление Пушкина со всемирно-историческим предназначением всей грядущей русской истории: *“Не было поэта с такой всемирной отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов. . . Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо. . . тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила”*. Достоевский, что стало ясно сейчас, переоценил духовную мощь человечества, но тогда речь эта как бы подытожила поражение волны антипушкинских сил середины прошлого века. Однако прошло всего несколько десятилетий – и следующая волна цивилизованного варварства обрушилась на, казалось бы, надёжно защищённую всей русской классикой наследие Пушкина.

“Сбросим Пушкина с парохода современности” – таков был расхожий лозунг многих “революционеров от культуры” Серебряного века. Поэзия всё бо-

лее и более теряла свою цельность, дробилась на узкие кастовые агрессивные течения — футуристов, акмеистов, символистов, скоропалительно теряя при этом общенародные черты и неуютно чувствуя себя рядом с материком пушкинской культуры. Да и писателям, близким социал-демократии, также не хватало понимания пушкинской широты. Но ниспровергатели гения добились лишь того, что сейчас, листая газеты и журналы тех времён с лихими выпадами против Пушкина, мы вспоминаем лишь его слова, как будто специально оставленные им потомству для подобных случаев: *“Легче превзойти гениев в забвении всех приличий, нежели в поэтическом достоинстве”*. Но и после революции двадцатые и тридцатые годы не сулили пушкинскому наследию ничего хорошего.

И дело не только в том, что узкоклассовый, вульгарный подход безмерно умалял величие и значение пушкинского творчества. А это упрощение Пушкина было узаконенным в двадцатые-тридцатые годы; даже такой образованный человек, как нарком просвещения А. Луначарский, в своих статьях всячески втискивал Пушкина в вульгарно-классовое прокрустово ложе: *“Пушкин не покинул до конца аристократических позиций”*; *“переход с барских позиций на буржуазные”*; *“Пушкин... поднимается, в сущности, до гегелевской постановки вопроса...”*. Но это ещё, как говорится, полбеда. Не такие бури пролетели над пушкинским миром! Вся беда в том, что ни Ходасевич, ни Блок, ни Есенин, предвидя одичание культуры, цензурные козни нарождающейся чиновничьей бюрократии, не предвидели одного: что в ближайшие годы будет осуществлена попытка буквального разрушения пушкинского мира, его материальных форм, попытка полного пересмотра русской истории, служившей фундаментом всему пушкинскому творчеству...

Дело в том, что к концу двадцатых годов в нашей идеологической системе сформировались антинациональные силы, создавшие концепцию, по которой за все многовековые грехи феодально-самодержавного, крепостнического периода нашей истории предъявлялся политический и идеологический счёт русскому народу и русской культуре. Они как бы объявлялись ответственными за всё несовершенство минувшего тысячелетия. Эта антирусская, антинациональная в своих крайних формах идеология оправдывала жестокие репрессии по отношению к русскому крестьянству как к реакционному классу, оправдывала разрушение великих памятников русской культуры и истории, якобы обслуживавших идеологию самодержавия, объявляла русский национальный характер консервативным, бездеятельным, неспособным к строительству нового общества. Вот, к примеру, какую программу культурного строительства развёртывала перед читателем массовая пресса того времени: *“Пора убрать исторический мусор с площадей. В этой области у нас накопилось немало курьезов. Ещё в прошлом году в Киеве стоял (а может быть, скорее всего и по сей день стоит) чугунный “святой” князь Владимир.*

В Москве напротив Мавзолея Ленина и не думают убираться восвояси “гражданин Минин и князь Пожарский” — представители боярско-торгового союза, заключённого 318 лет тому назад на предмет удуренья крестьянской войны. Скажут: мелочь, пустяки, ничему не мешают эти куклы, однако почему-то всякая революция при всём том, что у неё были дела поважнее, всегда начинается с разрушения памятников. Это вопрос революционной символики, и её надо строить планоно, рационально. Уцелел ряд монументов, при идеологической однозности не имеющих никакой художественной ценности или вовсе безобразных — ложно классический мартосовский “Минин-Пожарский”, микешинская тумба Екатерина II, немало других истуканов, уцелевших по лицу СССР (если не ошибаюсь, в Новгороде как ни в чём не бывало стоит художественный и политически оскорбительный микешинский же памятник 1000-летию России) — все эти тонны цветного и чёрного металла давно просятся в утильсырьё. Если сама площадь “требуется” монумента, то почему бы с фальконетовского Петра I не сцарапать надпись “Петру Первому — Екатерина Вторая”, и останется безобидно украшающий плац, никому не известный стереотипный “Римский Всадник” и т. д. Улицы, площади — не музеи, они должны быть всецело нашими”.

Это отрывок из статьи известного марксистского критика тех времён В. Блюма, опубликованной в газете “Вечерняя Москва” в 1930 году.

Обратим внимание, что в своём призыве к тотальному разрушению памятников русской истории и культуры нигилист тридцатых годов, в сущности, по-

кушается на наследие Пушкина. Ведь все монументы и реалии, недостойные, по его мнению, существования в новую эру, — это герои пушкинского мира. Владимир Святой, отождествляющийся в русском былинном эпосе с Владимиром Красное Солнышко, — персонаж из “Руслана и Людмилы”; на фоне имён Минина и Пожарского развивается действие “Бориса Годунова”, вспомним мысль Пушкина о том, что “имена Минина и Ломоносова вдвоём перевесят, может быть, все наши старинные родословные”; “микешинская тumba” Екатерина II — действующее лицо “Капитанской дочки”; ну, а о “Медном Всаднике” и говорить нечего... Словом, покушаясь на русскую историю, пигмей тридцатых годов покушался на Пушкина так, как ещё никто не покушался на него. Скепсис современников в конце жизни поэта, критика Писарева, невежественные призывы футуристов или догматические рассуждения Луначарского рядом с этой тотальной программой выглядят безобидным детским лепетом.

Но грянул 1937 год — столетие со дня смерти Пушкина, ставшее и государственным, и общенародным праздником, и мечты Блюма о разрушении Пушкинского мира окончательно развеялись. В 1937 году множество городов и посёлков получили имя поэта, по всему пространству Советского Союза возникло множество улиц, домов культуры, парков имени Пушкина. Было издано Полное академическое собрание его сочинений, со страниц советской прессы целый год не сходило его имя, дети в школах наизусть учили его стихи, повсюду целый год проходили вечера памяти поэта.

А что же делал в это время идеолог борьбы с историческим наследием России В. Блюм, в своё время приложивший много усилий, чтобы не допустить на сцену МХАТа пьесу М. Булгакова “Дни Турбиных”, которую он назвал “сплошной апологией белогвардейцев”? Он с ужасом видел, что на экраны страны вышли фильмы “Пётр I”, “Александр Невский”, а на сцене — опера “Иван Сусанин”, пьеса “Богдан Хмельницкий”, что страна от интернационализма поворачивала не просто к патриотизму, но к “русскому великодержавному шовинизму”. И Блюм садится писать письмо Иосифу Сталину.

“Москва. 31.1.39 г. Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Люди нашего с Вами поколения воспитались в обстановке борьбы за интернациональные идеи — и мы не можем питать вражды к расе, к народам: мы всегда будем считать “своими” Мицкевича, Гейне, немецкого рабочего <...> бить врага фашиста мы будем отнюдь не его оружием (расизмом), а оружием гораздо лучшим — интернациональным социализмом”. “Всесоюзный Комитет по делам искусств берёт ставку на всякий “антипольский” и “антигерманский” материал <...> несмотря на то, что мы видели антигерманский характер нашей белогвардейской контрреволюции”. Полностью пересказывать это письмо дело неблагодарное, и Сталин, конечно же, не ответил “члену партии с июля 1917 года”. Товарищ Блюм был вызван на беседу в ведомство Жданова, которое констатировало, что “В. Блюм считает, что идёт пропаганда расизма и национализма в ущерб интернационализму”, что “исторический Богдан Хмельницкий подавлял крестьянские восстания и являлся организатором еврейских погромов”. “В. Блюм недоумевает — почему сейчас так много идёт разговоров о силе русского оружия, которое служило в прошлом средством закабаления и угнетения других народов”. “В отделе пропаганды ЦК ВКП(б) В. Блюму было указано на ошибочность его теоретических положений <...> С этими указаниями В. Блюм не согласился”...

Ну, не согласился, и ладно. Главное в том, что беседа была проведена и что письмо к тов. Сталину стало последним сочинением ничего не понимавшего, “какое время на дворе”, еврея-интернационалиста, искренне не любившего мир исторической России, мир Александра Пушкина. Возможно, что В. Блюм стал “жертвой незаконных политических репрессий”. Но логика истории той эпохи была такова, что количество блюмов, ратовавших за дружбу с “немецкими рабочими”, после 1937 года значительно сократилось, что могло нам выиграть войну.

Однако ирония судьбы заключалась в том, что все усилия нигилизма двадцатых-тридцатых годов с первых же шагов были тщетными, потому что русская культура и пушкинский мир уже давно преобразовались из форм материальной жизни в духовные формы, уничтожить которые практически невозможно ввиду их неуязвимости. Ну какой смысл в том, чтобы “стереть надпись с “Медного Всадника”? Ведь всё равно, написав свою великую поэму, вошедшую в сердца и души нескольких поколений, Пушкин как бы выдал вечную

“охранную грамоту” и Петербургу, и монументу Петра – и, всем своим творчеством, многим другим узловым моментам русской истории! Чиновные моралисты, “неистовые ревнители”, вульгарные социологи забывали о том, что уже несколько поколений русских людей выросли в мире Пушкина, что уже с первых уроков в какой-нибудь самой захудалой церковноприходской или земской школе в душу ребёнка на всю жизнь западали и “Лукоморье”, и “Сказка о рыбаке и рыбке”, и “Буря мглою небо кроет...” Пока в течение столетия над бронзовой головой поэта проносились социальные страсти, споры, дискуссии, народ медленно и неустанно, как бескрайнее поле влаги, впитывал пушкинские мысли и чувства, пушкинскую музыку, пушкинский дух. Вот почему антипушкинские силы всегда были обречены на поражение и забвение. Пушкин спасал русскую историю, а самого Пушкина – не задумываясь об этом, безотчётно и естественно спасал народ, уже не мысливший без Пушкина своего существования. Поэтому, кто бы ни говорил о Пушкине – Гоголь, Белинский, Достоевский, Блок, Есенин – никто из них не обходится без эпитета “русский”. А потому волна разрушений, хулы, надругательств разбилась о пушкинские твердыни и откатилась вспять. Мир русской истории, сохранённый его десницей и его волей, словно “град Гвидона”, вновь восстал из пучин и хлябей, ибо он уже окончательно вошёл в сферу духа.

Не счесть уроков Пушкина, которые нам ещё предстоит усвоить...

Незадолго до смерти Пушкин оставил нам несколько мыслей, без понимания которых невозможно понять многое из политики, культуры, истории сегодняшнего времени.

К примеру, тот, кто размышляет о роли Соединённых Штатов Америки в нынешнем мире, конечно же, оценит проницательность Пушкина, писавшего почти 175 лет назад:

“С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую – подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; <...> со стороны избирателей алчность и зависть; <...> богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно восставленная перед нами”.

(“Джон Теннер”. 1836 г.)

*Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной глубине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая душу мне...*

Обратите внимание на это слово – “мне”. Пушкин, как всякий гений, ощущал присутствие в мире злой воли, бесовщины, великого “инквизиторства”, но, сталкиваясь с тёмной стихией, он никогда не впадал в душевную прострацию, в соблазн тут же освободиться от этого мучительного знания, в “художественную” истерию.

Нет, он мужественно брал “на себя” тьму мира, как бы фильтруя её собственной душой, проделывал огромную работу в поисках иных сил, побеждающих или нейтрализующих тьму.

И лишь услышав в хаосе мировой метели светлые голоса, увидев, что в результате его усилий вспыхивает колеблющийся зыбкий отблеск идеала, на который может, не сбиваясь с пути, двигаться человек, Пушкин решался выпустить в читательское море тех, кого он называл “питомцы давние, плоды мечты моей”. Пушкин обладал духовной силой, позволяющей ему брать “на себя” напор всей бездуховной, тёмной мировой нечисти. Он не перекладывал эту работу на плечи читателей, простых людей, “слабых мира сего” и этим отличается от современных кумиров массовой культуры, которые, наоборот, концентрируют в себе всю бесовщину мира, чтобы выплеснуть её на мятущуюся, потерявшую ориентиры добра и красоты душу сегодняшнего “маленького человека”, бедного Евгения... И как тут не вспомнить евангельскую истину: горе тому, кто соблазнит малых сих... А ведь в своей коллективной

ипостаси души простых людей образуют ту мировую или народную душу, “аукаться” с которой необходимо творцу. Когда-то Александр Блок в речи о Пушкине говорил о том, что “любезные чиновники” уже находят способ замутить гармоническую стихию в душе поэта. Сегодня дело зашло ещё дальше: выискиваются и находятся способы замутить “мировую душу”, чтобы в грядущем душе поэта не с кем было перекликнуться в бездуховной пустыне, чтобы она была отрезана от мировой стихии, чтобы её “божественный глагол” не мог бы достучаться до человека. А потому поможем Пушкину, Блоку, искусству вообще. Оправдаем надежды великих на нас, малых. В 1984 году, к 185-й годовщине со дня рождения Пушкина русский поэт Анатолий Передреев написал вдохновенное стихотворенье “Дни Пушкина”:

Духовной жаждою томим...

А. Пушкин

*Всё беззащитнее душа
В тисках расчётливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из тёмной власти барыша.*

*И всё дороже, всё слышней
В его бездушности преступной
Огромный мир души твоей,
Твой гордый голос неподкупный.*

*Звучи, божественный глагол,
В своём величье непреложный,
Сквозь океан ревущих волн
Всемирной пошлости безбожной.*

*Ты светлым гением своим
Возвысил душу человечью,
И мир идёт к тебе навстречу,
Духовной жаждою томим.*

Томиться духовной жаждой, ощущать её как нечто личное, чтобы выстрадать рождение души... “Душа не выстрадает счастья, но может выстрадать себя” (Ф. Тютчев).

Вот ещё какая громадная цель возникает перед нами сегодня; цель эта связана и со всемирными заботами человечества, потому что “тёмная власть барыша” в нашу эру – дело всемирное. Но эта цель связана и с нашими национальными заботами, ибо пророчество Гоголя о том, что Пушкин – “**это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет**”, имеет сроки: оно явлено миру в 1832 году, а значит, в нашем распоряжении ещё есть 20 лет. Так постараемся же оправдать пушкинские и гоголевские надежды, а осуществим их только тогда, когда вспомним, чьи мы наследники, когда поймём, что томление духовной жаждой – может быть, единственный путь для спасения человечества от “темной власти барыша” и от “всемирной пошлости безбожной”.

Хотел я ещё продолжить заключение к своим заметкам о Серебряном веке, о хрущёвской оттепели и горбачёвско-ельцинской перестройке, но стал перечитывать воспоминания Георгия Свиридова и нашёл у него слова, которыми и закончу эту работу:

“Искусство нашего века несёт большую ответственность за то, что оно действительно и талантливо проповедовало бездуховность, гедонизм, нравственный комфорт, кастовую интеллигентскую избранность, интеллектуальное наслажденчество и ещё того хуже: упоённо воспевало и поэтизировало всякого вида зло, служа ему и получая от этого удовлетворение своему ненасытному честолюбию, видя в нём освежение, обновление мира. Всё это, несомненно, нанесло огромный вред человеческой душе”... Лучше и точнее не скажешь.

Основные источники:

- М. В. Суров. Рубцов. Документы, фотографии, свидетельства. Вологда, 2006.
- М. В. Суров. Рубцов. Факты, воспоминания, посвящения. Вологда, 2011.
- Н. Рубцов. Видения на холме. М., Сов. Росс., 1990.
- Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л-д, 1976.
- Н. Мандельштам. Воспоминания. Т. 1, 2. ИМКА-пресс, 1972.
- М. Цветаева. Сочинения в 2-х томах. М., Худ. лит., 1980.
- Ариадна Эфрон. О Марине Цветаевой. М., Сов. пис., 1989.
- Анастасия Цветаева. Воспоминания. М., Сов. пис., 1983.
- “Мы жили тогда на планете другой”. Антология поэзии русского зарубежья. 1920–1990, в 5-ти томах. Моск. рабочий, 1995.
- Лидия Иванова. Воспоминания. Книга об отце. Atheneum, 1990.
- Л. Я. Гинзбург. Записные книжки. М., Захаров, 1999.
- Ю. Карабчиевский. Воскресение Маяковского. СП, 1990.
- Э. Герштейн. Мемуары. Инапресс, С.-Петербург, 1998.
- А. Вознесенский. Ров. М., Сов. пис., 1987.
- Сергей Куняев. Жертвенная чаша. М., Голос-Пресс, 2007.
- М. Кралин. Артур и Анна. Ленинград, 1990.
- Г. Свиридов. Музыка как судьба. М., Мол. гвард., 2002.
- Д. Нечаенко. История литературных сновидений. М., Университетская книга, 2011.
- “Имя этой теме – любовь”. Современницы о Маяковском. М., Др. народов, 1993.
- В. В. Маяковский. Сочинения в одном томе. М., Худ. лит., 1941.
- Протоиерей Иоанн Кронштадтский. Путь к Богу. С.-Петербург, 1905.
- С. И. Фудель. Сочинения в трёх томах, 1994.

Уважаемые читатели “Нашего современника”! Сообщаем вам, что вышло в свет второе, расширенное и дополненное издание книги Станислава Куняева “Жрецы и жертвы Холокоста”. Обращаться по телефону: (495) 621-48-71 или по адресу: 127994, Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.